

Э. Г. ЗАДОРЖНЮК, И. Е. ЗАДОРЖНЮК

ФЕНОМЕН СУГГЕСТИИ И КОНТРСУГГЕСТИИ ВОЙН И РЕВОЛЮЦИЙ ГЛАЗАМИ ПИСАТЕЛЕЙ*

Доказывается востребованность понятий *суггестия* и *контрсуггестия*, введенных в дискурс общественных наук Б.Ф. Поршневым; дается их расширенное определение в русле междисциплинарного подхода. Обосновывается настоятельность новых моментов в оценивании событий Отечественной войны 1812 г. и Октябрьской революции 1917 г. Дана трактовка романа «Война и мир» Л. Толстого и трилогии М. Алданова «Ключ», «Бегство», «Пещера» как исторических источников в ракурсе диалектики суггестии и контрсуггестии. Эта трактовка, в частности, базируется на концепте постнеклассического типа научной рациональности (В.С. Степин), предполагающем привлечение всех видов знания к объяснению природы и сути исторических феноменов, не схватываемых уже устоявшимися познавательными процедурами.

Ключевые слова: исторический феномен, социальные процессы, суггестия, контрсуггестия, революционаризм, провокация, войны, революции

Блажен, кто посетил сей мир / В его минуты роковые
Ф.И. Тютчев

Романы «Война и мир» Л. Толстого и «Ключ», «Бегство», «Пещера» М. Алданова можно считать полноценными историческими источниками, не только исходя из того, что многие читатели воспринимают 1812 год по творению Толстого, а революцию 1917 г. – по трилогии Алданова, но и с опорой на концепт постнеклассического типа научной рациональности, предполагающий привлечение всех разновидностей знания к объяснению природы и сути феноменов, не схватываемых познавательными процедурами классического и постклассического ее типов. Данный концепт введен в общенаучный оборот философом В. Степиным и его школой. В его арсенал входят, к примеру, художественное воображение, нравственные ценности, даже мифы и верования¹.

Что касается понятий «суггестия» и «контрсуггестия», то их смело и обоснованно ввел в научный дискурс историк Б. Поршнев. Суггестия (*лат.* внушение) рассматривалась им как результат словесных или эмоциональных воздействий, исходящих от одного (нескольких) субъектов к другим и влияющих на их восприятие, чаще всего некритическое. При этом «суггестия в чистом виде тождественна полному доверию к внушаемому содержанию, в первую очередь к внушаемому действию. Это полное доверие, в свою очередь, тождественно принадлежности обоих участников данного акта или отношения к одному “мы”, то есть к чистой и полной социально-психической общности, не осложненной пере-

* Памяти ушедших из жизни ученого-естественника Ивана Николаевича Андропова и ученого-обществоведа Анатолия Васильевича Дмитриева посвящается.

¹ Степин 2003.

сечениями с другими общностями, а конструируемой лишь оппозицией по отношению к “они”. Поскольку речь идет о тождестве, закономерна и обратная формулировка: психическая общность (“мы”) в ее предельно чистом случае это есть поле суггестии, или абсолютной веры. Отсюда еще одно тождество: полная суггестия, полное доверие, полное “мы” тождественно внелогичности (принципиальной неверифицируемости)². Контрсуггестия указывала на психические механизмы недоверия к воспринимаемому, а затем на неприятие общепринятого, что, по Поршневу, как раз и задает векторы собственно исторического развития, преодолеваемая во многом биологические механизмы суггестии. Понятия суггестии и контрсуггестии многое могут прояснить в анализе смены установок в массовом сознании и в доминирующих настроениях в ходе исторических событий. Механизмы их переключения очень сложны, но выявляемы, в т.ч. через анализ произведений искусства, если осуществлять его с учетом приемов постнеклассического типа научной рациональности. Мы обратимся к их рассмотрению, ни в коем случае не претендуя на окончательность оценок. Отметим лишь, что они все же бросают дополнительный свет на самые массовидные и неоднозначно трактуемые события, в первую очередь войны и революции.

Как известно, многие воспринимали и воспринимают события 1812 года по роману «Война и мир» Л. Толстого, а не по историческим источникам, суждениям (военных) историков и даже свидетельствам очевидцев. Одна из причин – объемное описание суггестии, охватившей «мир», т.е. множество отечественных сообществ: как отдельных слоев, так и народа в целом, поднявшего «дубину войны». Этот роман о том, какая сила потрясает «миры» и производит войну – самое страшное преступление, порождающее тысячи и тысячи других – шаг в художественном развитии всего человечества (на что указывал в своих статьях будущий вождь революции). Но не менее важно другое: он, можно сказать, эмпирически и проникновенно описывает силы, двигающие тем же человечеством на ключевых пунктах его истории.

Что же это за силы? Они отнюдь не благодетельны, а часто деструктивны, а главное – трудно постигаемы. Вот одно из объяснений самого Толстого в заметке «Несколько слов по поводу “Войны и мира”», отдающее звериной жестокостью, но, по убеждению писателя, – трудно опровергаемое. «Зачем, – пишет он, – миллионы людей убивали друг друга, тогда как с сотворения мира известно, что это и физически и нравственно дурно? Затем, что это так неизбежно было нужно, что, исполняя это, люди исполняли тот стихийный, зоологический закон, который исполняют пчелы, истребляя друг друга к осени, по которому самцы животных истребляют друг друга. Другого ответа нельзя дать на этот страшный во-

² Поршневу 1972. С. 13.

прос»³. Более конкретный вопрос – а какая сила стимулировала в 1812 г. движение людских масс на Восток? Неужели только воля одного человека – Наполеона? Почему вчерашние обыватели из Франции и Баварии, Голландии и Швейцарии приняли участие в этом движении, одев военные мундиры? Обыватели, которые представлены писателем достаточно зримо – и люди, вроде, неплохие. Как и те, кто их встретил в России – в военных мундирах и без, зато с топором и дубиной... Ведь упомянутые силы в людях, а не только в вождях. Но на эту силу нашлась другая: под ее воздействием уже русские под водительством, по видимости, пассивного своего вождя Кутузова погнали неприятеля с востока на запад. И те же баварцы и голландцы, не говоря уже о большинстве французов, начали именовать Наполеона «узурпатором», а не «императором».

Толстой пытался понять войну по-новому, чего многие истолкователи-современники ему не прощали. Одни – историки – ловили его на ошибочном описании сражений, другие ерничали над «каратаевщиной», третьи отказывали в способности к научному анализу. Даже единомышленник Н. Страхов не мог не то что защитит – понять писателя. Разве только Ф. Достоевский на примере тщательного анализа не столько «Войны и мира», сколько «Анны Карениной» подчеркнул, что Толстому удается детально и убедительно описывать, говоря языком современной науки, сдвиги в массовом сознании в моменты его переформатирования.

Многие трактовали смерть Толстого как предвестие конца устоявшегося «мира» и его тотальное озверение – что и произошло. И мало кто выходил за объяснения в рамках самого разного – социального, политического, экономического и т.п. – детерминизма, присущего самому Толстому. Ему же пришлось грубо, но с искренней прямоотой объяснять причины наращивания злобной суггестии в годы войн и – косвенно – причин нарастания суггестии революционаризма. И он задавал домашнее задание исследователям XX века: показать нахождение за тонкой цивилизационной коркой темных веществ некой магмы суггестии, всеми силами прорывающейся на поверхность социума в разные исторические времена. «12 июня, – читаем в романе, – силы Западной Европы перешли границы России, и началась война, то есть совершилось противное человеческому разуму и всей человеческой природе событие. Миллионы людей совершали друг против друга такое бесчисленное количество злодеяний, обманов, измен, воровства, подделок и выпуска фальшивых ассигнаций, грабежей, поджогов и убийств, которого в целые века не соберет летопись всех судов мира и на которые, в этот период времени, люди, совершавшие их, не смотрели как на преступления»⁴. Причины нашествия сводятся совсем не к честолюбию его предводите-

³ Толстой 1963. Т. 7. С. 390.

⁴ Толстой 1962. Т. 6. С. 7.

ля: их, считает Толстой, насчитывались буквально миллионы, поскольку в жизни каждого его участника были стороны личная и роевая, стихийная, бессознательная. Для объяснения протекания которой термин «суггестия» подходит как никакой иной.

Это сила трудно постигаемого разумом, но ощущаемого всеми сплочения «мы» против «они», преодолевающая любые личные устремления абсолютная вера, тождественная внелогичности⁵. Вот как она манифестируется в кульминации Бородинского сражения. «Измученным, без пищи и без отдыха, людям той и другой стороны начинало одинаково приходить сомнение о том, следует ли им еще истреблять друг друга, и на всех лицах было заметно колебанье, и в каждой душе одинаково поднимался вопрос: “Зачем, для кого мне убивать и быть убитому? Убивайте, кого хотите, делайте, что хотите, а я не хочу больше”. Мысль эта к вечеру одинаково созрела в душе каждого. Всякую минуту могли все эти люди ужаснуться того, что они делали, бросить все и побежать куда попало. Но хотя уже к концу сражения люди чувствовали весь ужас своего поступка, хотя они и рады бы были перестать, какая-то непонятная, таинственная сила еще продолжала руководить ими...»⁶.

Это сила суггестии, которая побуждает достигать бессмысленной в сложившейся ситуации победы любой ценой; сила сплочения общности, приводящая ее на грань самоистребления; сила, тайну которой объяснить, опираясь лишь на рациональные доводы, невозможно.

Условно говоря, контрсуггестор Лев Толстой своим романом не только объяснял природу и характер проявления этой силы, но стремился показать ее деструктивный для судеб человечества характер. Под его осуждение попадает любая война – вчера, сегодня и завтра; в частности, и поэтому «Войну и мир» читают и почитают во всем мире.

Описание суггестии Л. Толстым можно назвать – крайне условно – эпическим, у М. Алданова же оно характеризуется некой надрывностью. Надрывно ожидание революции в романе «Ключ», надрывен – уход от (и из) нее в романе «Бегство», надрывна – с элементами самоубийства – адаптация с новой родиной, западом в романе «Пещера». Если Толстой, изображая войну 1812 г., охватывал события с 1805 г. по 1825 г., то временной диапазон романов Алданова – конец 1916 г. – 1920 г. Ткань истории и в то, и в другое время – как редко когда – полно выявляла кровавую и непонятную свою изнанку. Нужны были новые способы ее схватывания (аллюзия на немецкое *der Begriff* – понятие, производное от *begreifen* – понимать, схватывать, познавать как Адам Еву, не случайно слово *понятие* в немецком мужского рода, как и латинское *концепт*). Это было просто не под силу, к примеру, историку 1812 г. О. Тьеру или

⁵ Поршневу. 1972. С. 13.

⁶ Толстой 1962. Т. 6. С. 297.

хронографу революции Н. Суханову, но писательские трактовки часто вызывали едва ли не возмущение пытливых и мыслящих специалистов, особенно людей, перед которыми вырисовывалась необходимость развенчания многих иллюзий. Действительно, многие герои и Толстого, и Алданова не сдерживались в своих суждениях о, казалось бы, незыблемых истинах. Так, Николай Болконский в диалоге с Пьером Безуховым указывает на это с полной определенностью относительно иллюзии вечного мира – замените-де для этого кровь водой. Остается – в продолжение – привести слова А. Блока в поэме «Возмездие» о том же: «И черная, густая кровь / Сулит нам, разрушая межи/, Все разрывая рубежи/ Невиданные перемены./ Неслыханные мятежи».

Конечно, о мощи разрушительных сил в истории знали и знают многие ученые и мыслители. Это знал К. Маркс, а затем В. Ленин, когда утверждали, к примеру, что привычка масс – страшная сила. Правда, к аргументам социобиологического характера они прибегали нечасто. Внимательнее всматривался в природу этих феноменов психиатр В. Бехтерев, трактуя их как коллективные рефлексy. Однако социальная мысль того и нашего времени, причем не только соотносимая с философским направлением позитивизма или неопозитивизма, смотрела на них едва ли не с презрением и присловьем «Чур меня!».

(Квази)контрсуггестором в романах Алданова выступает не он сам, как Лев Толстой в «Войне и мире», а два его протагониста: именно ученый-естественник и юрист фиксируют нарастание напряжения, связанного с тем, что условно можно назвать суггестией революционаризма. Употребим этот термин для обозначения не столько революционных действий, сколько иллюзорных ожиданий и оценок, с ними связанных; соответственно можно считать правомерным разделение на революционеров и революционаристов⁷. Книги Алданова в качестве исторического источника в данном ракурсе практически не рассматривались. А ведь они являют собой своеобразную запись сейсмографа революционных настроений на их пике и спаде. Романы освещают исторически явленную в указанные времена суггестию с такой полнотой, которая недостижима пока средствами социологического, психологического и тем более политологического анализа. И даже если применить к ее рассмотрению комплексный социальный анализ – чего-то будет недоставать.

Первый роман «Ключ» (1930) описывает горячечные ожидания революции. Особо суггестивно это «нетерпение» (слово Ю. Трифонова, характеризующее настроения небольшой группы революционеров 1870-х гг.; их передал и сам Алданов в романе «Истоки») в России перед февралем 1917 года охватило все слои общества. Примечателен на этом фоне диалог ученого-естественника Александра Брауна и сотруд-

⁷ См.: Задорожнюк 2010.

ника тайных служб полиции юриста Сергея Федосьева, в котором затрагиваются и глубинные причины такого нетерпения.

В беседе неизбежно возникает вопрос: долго ли так можно прожить? И констатация со стороны представителя власти: «Все мы смутно чувствуем, что дело плохо. И заметьте, большинство очень радо: грациозно этак, на цыпочках в пропасть и прыгнуть!». А далее он же выводит складывавшуюся ситуацию из некоего ущербного качества отечественной жизни: чаще всего сомневаются в пригодности своего дела как раз профессионалы: «У нас военные по настроению чужды милитаризму, юристы явно не в ладах с законом, буржуазия не верит в свое право собственности, судьи не убеждены в моральной справедливости наказания...»⁸. Это, можно сказать, архетипическое наблюдение, с которым вынужден согласиться ученый-естественник, «деликатно» склоняющийся к революционаризму – но с максимальным дистанцированием от присутствующей таковой суггестии. Оба согласны, что в процессе фатального приближения революции некоторые идеи и связанные с ними образцы поведения приобретают черты навязчивости.

В этой мгле суггестии обнаруживаются и очаги вряд ли одобряемой контрсуггестии: «Революция – недурная карьера, разумеется, революция осторожная. В среднем, немного опаснее ремесло, чем, например, военная служба, зато настолько же и выгоднее, ведь повышение идет куда быстрее»⁹. Подобной глубины суждения редко обнаруживаются даже у самых пронизательных социальных аналитиков – у писателя конкурентов не обнаруживается в констатации такой амбивалентности.

Если бы Браун с Федосьевым и пересказывающий их взгляды Алданов были бы знакомы с основами социобиологии, они прибегли бы к ее аргументам – как это сделал Толстой, допуская возможность самоистребляющего «зоологического закона» в поведении людей. Отметим, что понятие «социобиология» ввел в 1975 г. энтомолог Э. Уилсон для объяснения феноменов альтруизма и – позже – агрессии в человеческом поведении, выводя их из биологических инстинктов¹⁰. Это междисциплинарное исследовательское поле разрабатывалось и ранее, социобиологию, например, сопоставляют с социал-дарвинизмом, довольно беззубым по сравнению с ней: в нем ведь «овцы поедали людей», как в Британии в канун Нового времени, или люди поедали своих ближних по внятному – экономическим – причинам. Социобиология же анализирует причины этого самоистребительного взаимопоедания куда глубже.

Ученый-естественник Браун, объясняя нарастание суггестии революционаризма, замечает, что революционер Герцен за революционари-

⁸ Алданов 1991. Т. 3. С. 91.

⁹ Там же. С. 93.

¹⁰ См.: Wilson 1975.

стов-адвокатов не отвечает. Поэтому не столь страшна пропасть между русской интеллигенцией и народом, сколь таковая между вершинами русской культуры и ее золотой серединой. Так, на вершинах русский либерализм замечательное, может даже, явление мировое, на упомянутой же середине он отдает пошлостью... Как оперное либретто «Фауста» (или «Пиковой дамы»), уточняет его собеседник-охранитель. И добавляет: «Что до низов... Волей судьбы вершины нашей мысли сейчас указывают на самое, чего хотя бы низы, и это наше счастье. Но, может быть, так будет недолго, связь ведь, в сущности, случайная, и это наше несчастье. Иными словами, вполне возможно, что в один прекрасный день низы нас с нашими идеями пошлют к черту. А мы их.

– Непременно так и будет. Только вы их пошлете к черту фигурально, а они вас без всяких метафор»¹¹, – резюмирует Браун.

Что в этом диалоге проясняется относительно суггестии революционаризма? Во-первых, идентификация революции с неотвратимым праздником, в ходе которого для радости разрушения годится любой повод – в данном случае юбилей адвоката (не без аллюзий на А. Керенского?). Во-вторых, то, что «публика» – и верхи, и низы – все принимает всерьез: как пустые слухи, так и расходящиеся с устоявшимся порядком намерения и поступки, в том числе преступления. В-третьих, это мобилизующее единение тех же верхов и низов, когда представители царствующих династий ходят по улицам с красными бантами (так было не только в России 1917 года, но и во Франции в конце XVIII века, да и практически в начале любой революции); отрезвление наступает быстро, что и показывает опыт каждой революции.

Конечно, можно сказать: легко-де Алданову было описывать и оценивать уже произошедшее. Нет, дьявол, как говорят, в деталях. Писатель с таким мастерством в данном диалоге, да и во всем романе, выявляет и группирует праздник горячки революционаризма, так анатомирует соответствующую суггестию, что его анализ приобретает черты одновременно первичности и классичности.

Остается добавить: празднество в честь юбилея и сопутствующие бал и благотворительный вечер как предвестники обострения указанной горячки описывались и до Алданова. Наиболее ярко – в «Бесах» Достоевского и «Петербурге» Андрея Белого, причем у последнего – с еще большим сарказмом. Хозяин бала, естественно, либеральствующий чиновник, танцевал с детства, на этом выстроил карьеру и приобрел богатство, которое протанцевал: «Танцевалось все это легко, незатейливо, радостно. Он теперь дотанцовывал себя сам». Кстати, мрачно звучащим фоном указанных танцев был звук: «Уууу-уууу-уууу: так звучало в иностранстве; звук – был ли то звук? Если то и был звук, он был звук несо-

¹¹ Алданов 1991. С. 216.

мненно иного какого-то мира; достигал звук этот редкой силы и ясности: “уууу-уууу-ууу” раздавалось негромко в полях пригородных Москвы, Петербурга, Саратова: но фабричный гудок не гудел, ветра не было; и безмолствовал пес»¹². Был это, по нашему соображению, звук суггестии революционаризма. Затем все о тех же политизированных танцах писал М. Булгаков в «Мастере и Маргарите»...

И вот – начало реального обострения горячки революционаризма глазами третьего не столь пронизательного героя: следователя Яценко, почувствовавшего, правда, сразу же ее издержки. На улицах необыкновенное оживление, собираются толпы народа, который идет по мостовой, хотя достаточно места и на тротуарах, улицы ярко освещены. «Одни шли, как на сцене статисты во время победного марша, другие – так, точно неслись куда-то на крыльях. Восторженное волнение выражалось на всех лицах. У многих было даже **молитвенное** выражение, которое показалось Николаю Петровичу неестественным»¹³. Остается вспомнить Манежную площадь 1990-х – и послевкусие более позднего времени.

Алданов фиксирует в оценках своего героя и элементы контрсуггестии. События по-прежнему переполняют его душу радостью, но уже меньше, чем дома, и не так убеждающе после пожара в здании суда, а главное – вид толпы, горячечно приветствующей революцию: хоть немного, да изменить настроение думающего юриста (пытливого и честного, как видно из предшествующего содержания романа) она все-таки может. Контрсуггестия на личностном уровне даже профессионала в таких условиях рождается с трудом. «Он еще неясно сознавал эту перемену и несколько ее стыдился. “Нельзя быть впечатлительным, как нервная дама! – сказал себе Яценко. – Все радуются освобождению страны и совершенно правы. Сбылась мечта декабристов, мечта десятка поколений... И все-таки что-то не то... Вот и после взятия Перемышля такая же была радость на улицах – искренняя и не совсем искренняя. Собственно, настоящий восторг может быть только от событий личных”, – нерешительно подумал он. Загораживая дорогу Николаю Петровичу, два человека заключили друг друга в объятия. Он раздраженно на них взглянул, пытаясь короткими шажками обойти их то справа, то слева.

– ... Да как же, у казарм войска **братаются** с народом! – восторженно сказал господин в котиковой шапке. – Я сам видел!..

– Господи, неужели это окончательно? Довелось же дожить!.. Из тюрем выпустили **узников**, которые там **томились**...

“Как, однако, неестественно стали говорить люди, – подумал Яценко, проходя”»¹⁴. Обратим еще раз внимание на выделенные самим

¹² Белый 1981. С. 77, 153.

¹³ Алданов 1991. С. 252.

¹⁴ Там же. С.252.

Алдановым в тексте слова – они составляли основу мобилизующих речей наступающих времен «освобождения».

И дальнейшее продолжение праздника: «Казачий отряд проехал легкой рысью, разрезая проход на улице. Отшатнувшаяся к тротуарам толпа смотрела на казаков с тревожным чувством, как бы еще не выяснив своего отношения к этому явлению. У казаков вид был тоже странный, чуть растерянный и вместе молодцеватый более обычного, словно и они еще не решили, что нужно делать: не то **брататься** с толпою, не то взяться за нагайки. Николаю Петровичу показалось, что и то, и другое одинаково возможно. Казаки свернули в боковую улицу и скрылись. Все вздохнули свободнее»¹⁵.

Амбивалентность групповой суггестии людей с нагайками схвачена в этом психологически выверенном наблюдении с выделенными мобилизующими словесами, с редким мастерством. В нем зафиксировано то, что позже начало называться точкой бифуркации – понятием, введенным еще одним эмигрантом, химиком, обрусевшим евреем (как и Алданов, кстати, тоже химиком по первому образованию) И. Пригожиным. Были ли они знакомы – пока неизвестно, но теория случая, исповедуемая естественником Брауном, протагонистом Алданова, и теория бифуркации имеют много общего.

Описанием приступа горячки революционаризма и соответствующей ему суггестии заканчивается роман «Ключ». Его – с определенными уточнениями и оговорками – можно трактовать как репортаж с Манежной – или той же Дворцовой – площадей немногим более 70 лет спустя.

В романе «Бегство» тоже примечательны в плане объяснения уже состоявшейся революции, прежде всего, диалоги, постоянным участником которых является Браун. Первый из них – стремление партийного функционера убедить Брауна, чтобы он – великий ученый ранга И. Павлова и К. Тимирязева – остался в России: второй ведь революцию поддерживал и позже даже выпустил книгу «Наука и демократия» (1920). Позиция инициатора диалога – деятеля большевистской партии и профессиональной революционерки – в чем-то схожа с позицией А. Луначарского и даже В. Ленина. Действительно, почему не работать для науки в России, если здесь будут созданы условия хотя бы на началах постепенности; так и произошло с тем же Павловым. Ведь если любишь родину крепко – оставайся с нею и в беде с правом критики, как профессор из пьесы «Кремлевские куранты». Альтернатива – гибель, которую как раз и избрал значительно позже через самоубийство тот же Браун.

Идет еще один обмен репликами – как ранее в разговоре с руководителем охраны – весьма осмысленными, но от этого не менее ядовитыми. Неучастие в революции трактуется Ксенией Фишер как мешанст-

¹⁵ Там же. С. 253.

во с его принципиальной невосприимчивостью к новому человека, придерживавшегося ранее установок революционаризма. В большей степени контрсуггестор Браун парирует: «Глупое есть такое слово, которому очень повезло в нашей литературе: “мещанство”. Господи, какое мещанство вы породите в “самой революционной стране мира”! Ну, просто европейским лавочникам смотреть будет любо и завидно. А тогда вы все свалите на перспективу: посмотрим, мол, что люди скажут через пятьсот лет? Это очень удобно, и вы, вдобавок, будете правы, ибо и через пятьсот лет много будет дураков на свете»¹⁶. На что звучит ответ, которому не откажешь в некой логике: «...это характерно: бесстрашие философской мысли и отвращение к политическому действию. Безошибочный признак житейского дилетантизма, забвение всего того, чему вы служили...»¹⁷.

Что же касается брауновского обличения – во многом справедливого – коммунистического мещанства (которое практически одновременно осуждали внутри новой России почти все писатели и поэты революции, прежде всего В. Маяковский), то его можно было бы скорректировать известным суждением И. Сталина: других обитателей у меня нет. С оговоркой, что “недругих”, выступавших против коммунистов, он безжалостно уничтожал, не считаясь с их социальным статусом. Пострадали и те, кто, по меткому замечанию Федосьева, делали ставку на «революционную карьеру». Но для профессора Брауна таких альтернатив нет: он безоговорочно требует заграничный паспорт. А его критика большевизма – страстная контрсуггестия, если можно использовать такой оксюморон. «Самое характерное для большевиков – плоскость... Среди вас есть люди очень неглупые, но загляни им в ум – в трех вершках дно; загляни им в душу – в двух вершках дно. А если еще добавить глубокое ваше убеждение в том, что вы соль земли и мозг человечества!.. Спорить с вами совершенно бесполезно и так скучно!.. Большевистская мысль опошляет и тех, кто с ней спорит...»¹⁸. А тем более попутчиков, к которым стремится отнести его собеседница.

До такой глубины обличения (не во всем справедливого) большевизма не доходили многие интеллигенты и мыслители России, включая пассажиров «философского парохода» – за редкими исключениями: тот же И. Ильин и П. Струве, а не в меньшей мере друзья писателя – И. Бунин и В. Набоков – обличали его еще доказательнее и яростнее. Но вот моменты разоблачительной контрсуггестии Браун представил очень рельефно. Правда, надо учесть, что этот протагонист Алданова высказывал свои мысли на определенной исторической дистанции: «Бегство» было написано к началу 1930-х гг. Но опять-таки, – дело в деталях. Уж

¹⁶ Там же. С. 279.

¹⁷ Там же.

¹⁸ Там же. С. 255.

в чем в чем, а в пошлости убедительно обвинять большевизм тогда – в годы индустриализации и раскрестьянивания – надо было суметь.

Болевую точку Браун нащупал, но своего противника не переубедил: суггестия революционаризма не поддается критике принципиально. Ведь охваченным ею хоть что-то надо искать, в данном случае – собирать государство. Более того, Алданов устами Брауна генерализирует свою критику: «...большевистская партия – это гигантское общество по распространению пошлости на земле, – вроде американского кинематографа, только неизмеримо хуже. Людям свойственно творить гнусные дела во имя идеи, – здесь и вы, быть может, не побьете рекорда. Но иногда идея бывала грандиозной или хоть занимательной. А у вас и самой идее медный грош цена»¹⁹. Уж что-что, а стилистика Брауна оказалась весьма востребованной более чем 70 лет спустя. Логического блеска ей, может, и не хватало, но суггестия антибольшевизма просматривалась в ней тоже с высоким градусом пошлости.

В диалоге с экс-сыщиком Федосьевым реплики Брауна не менее ядовиты, а в чем-то убийственны: «Государство наше рухнуло, а наша жизнь, в которой было много истинно прекрасного, такого, чего я нигде в мире не видел, наша жизнь даже не разрушилась, а просто расплзлась. Так, на моих глазах, теперь расплзаются вполне порядочные люди, еще вчера не подозревавшие, что и они кандидаты в зверинец... И, разумеется, то, что случилось с нами, могло случиться с Францией, Англией, Германией, – теоретические выводы мои имеют очень общий характер. Народы становятся чистыми объектами истории (простите косноязычные слова), именно тогда, когда они объявляют, что наконец-то стали ее субъектами. Или, точнее, когда им это объявляют. Самые совершенные формы рабства создаются, конечно, революциями»²⁰.

Отечеству Брауна пришлось еще раз испытать в конце века «атмосферу зверинца» – и еще раз потерять много «истинно прекрасного», что было приобретено за время одной человеческой жизни: с 1917 по 1991 гт. Достаточно вспомнить бесплатную медицину и образование – ведь они не упали с неба, а создавались. Но во имя же «борьбы с коммунизмом» их отправили в преисподнюю... Контрсуггестия антикоммунизма, тем самым, приобрела столь же горячечный характер, как и суггестия революционаризма.

Непонятно следующее: приводит к своего рода мизантропии Брауна его антибольшевизм – или первая подпитывает второй? Ведь сам Алданов видел в Европе уже новых рыцарей «зверства, тупости и хамства» и предвидел, что они могут натворить там, куда устремились «беглецы» из России еще до того, как Муссолини и Гитлер стали пол-

¹⁹ Там же. С. 278.

²⁰ Там же. С. 315.

новластными вождями в своих странах (писатель одним из первых еще до 1930-х создал их психополитические портреты в своих очерках).

Завершается «Бегство» еще одним диалогом Брауна и Федосьева, который можно символично назвать антиапологией суггестии революционаризма и полного нигилизма. Ему, по мнению ученого, предшествовало состояние суггестивного характера – латентная мизантропия, как бы автоматически спихивающая (да простится это неблагозвучное слово) человечество в пропасть Первой мировой войны, так и не закончившейся в 1918 г. Все шло как бы мимо разума и понимания человечества и отдельных людей, плодя провокации, неизбежным концом которых и стал разлом цивилизации²¹, причем шел он как раз с запада. Разочарование в ней – предмет размышлений десятков писателей «потерянного поколения»: англичанин Р. Олдингтон и немец Э. Ремарк, француз А. Барбюс и американец Э. Хемингуэй были талантливы не меньше Алданова.

«Мы точно спросонья говорили... Или под наркозом: так не проснувшимся или пьяным людям кажется, будто они говорят дело, но слова их ничего не значат и бессмысленно виснут в пустоте. Такие у нас были слова: свобода, самовластие, гуманность, деспотизм, родина, человечество и много, много других звонких слов... Что не было обманом, то было самообманом. С какой легкостью на смену “человечеству” пришли и “Gott strafe England” (Боже, покарай Англию) и “les sales boches” (грязные боши), и Козьма Крючков, насадивший на пику сразу тринадцать швабов. С какой легкостью горячие русские патриоты оказались на наших глазах независимыми украинцами, независимыми литовцами, независимыми грузинами. И как незаметно-благозвучно тюрьма превратилась в изолятор, а “Столыпинский галстук” в “высшую меру”...». Последние реплики уже о революции и ее плодах...

Трудно найти более горькие слова о распаде/развале отечественной государственности. Но этот тотальный нигилизм корректируется себе-седником-охранителем, манифестирующим: «Что ж так валить в одну кучу, без логических разграничений, без политического анализа! В этом есть неуважение к чужой вере... А человек, неизлечимо больной демократическими взглядами, пожалуй, вам скажет: “Parlez pour vous” (говорите за себя) – и по-своему он тоже будет прав: у них ведь строго по части либерального мундира и знаков отличия за беспорочную службу демосу. Демос их послал к черту, но они беспорочную службу продолжают. Казалось бы, теперь слепому ясно, что демосу наплевать и на чужое право, и на чужую свободу. Может быть, ему наплевать даже и на свою собственную свободу, но уж на чужую наверное. Иными словами, демократия сама себя укусила за хвост»²².

²¹ Задорожник 2017. С. 67-85.

²² Алданов 1991. С. 516.

А уж что творилось во имя ее в конце XX века?! Причем оправдывалось самыми что ни на есть последовательными “демократами”... Достаточно вспомнить апологию “гуманитарных бомбардировок” Югославии, а затем агрессии в других странах на всём земном шаре. С учетом нарастающей потенциала новейших средств массовой информации, дублирующей многократно самые нелепые слухи и обвинения.

И – обмен заключительными репликами в духе Армагеддона (книгу под таким названием Алданов выпустил еще в 1918 г., из-за нее он и был вынужден покинуть страну уже в 1919 г.). «На землю надвигается тьма, – не слушая Федосьева, говорил Браун, – густая тьма, мрак, подобного которому история никогда не знала. Мрак не реакционный, а передовой и прогрессивный в точном смысле слова. Теперь, кажется, и сомнений быть не может: большая дорога истории шла именно сюда, мировой прогресс подготавливал именно это! История прогрессивно готовила штамп прогрессивной обезьяны, и мы стали свидетелями великого опыта полной обезьянизации мира.

– Нет уж на историю, пожалуйста, не взваливайте. История, как нотариус, она любой акт регистрирует, ей что! Это вы, господа, готовили злую штампованную обезьяну, для которой мы, грешные, держали про запас клетку»²³. Последние слова, говоря языком психоанализа, наиболее прожективны, т.е. основываются на механизме психологической защиты, когда кто-то приписывает свои мысли, намерения, представления кому-то другому. Заодно они апеллируют к аргументам в духе социобиологии. Диалог шел непосредственно перед тем, как его участники покидали революционный Петроград. Чтобы попасть в новую «клетку», даже «Пещеру» (название третьего романа). Ибо, как говорил поэт, повсюду страсти роковые, и от судеб защиты нет, а победителей в непрестанной «великой борьбе», по Алданову, не может быть в принципе...

Многие герои «Ключа» в итоге «Бегства» (если прибегнуть к любимой Алдановым метафоричности) попали из огня да в полымя, особенно те, у которых было – как у Алданова – еврейское происхождение. Для них желанный Запад оказался не столько пещерой, сколько, если использовать древнерусское выражение, «пещью огненной». Алданов этой темы как раз не педалировал: воздействие на них суггестии революционаризма, идущего из Германии, ощущается, так сказать, по касательной – без ставшего в дальнейшем модного отождествления двух видов тоталитаризма. Остается добавить, что Алдановым были созданы исторические портреты современных ему диктаторов, в первую очередь, Сталина (1927) и Гитлера (1931), причем очерк о Гитлере на два года опередил выход классического политологического труда Н. Устрялова «Германский национал-социализм».

²³ Там же.

В «Пещере», в частности, описывается горячка революционаризма, которая вслед за Россией охватила Германию. Но здесь болезнь протекает по-своему – другие и суггестия, и контрсуггестия. В первую очередь, революция в Германии трактуется как возмущение «мальчишек»-спартаковцев против устоявшихся слоев, в отличие от России, где бунтовал все же взрослый солдат – мужик или рабочий, хотя молодежь и здесь жаждала описываемой Алдановым карьеры революционера. Фактически обнаженнее виделся и сдвиг к перестроению распределительных отношений, что часто выступает, по утверждению социолога Ф. Шереги, первопричиной и войн, и революций²⁴. Вторая специфическая особенность событий в Германии в ноябре 1919 года – похожесть революции на контрреволюцию. Наконец, третья особенность – в целом буржуазия, причем не только крупная, но в основном мелкая, понимала, чего хочет и не заигрывала с любого вида революционаризмом, а образовывала такие структуры “гражданского общества”, которые были инкорпорированы в национал-социализм.

В очередном диалоге дается оценка политического процесса в современной Алданову Европе в целом – с аллюзиями на аргументы в духе социобиологии, тогда еще не возникшей: «У обезьян нет политической истории, – если б она у них была, то очень походила бы на человеческую. Социалисты, по крайней мере, некоторые, в свое время пытались преодолеть в истории обезьянье начало – и, очевидно, теперь в этой попытке раскаялись. Надо их поздравить: им вполне удалось загладить свою вину... Они теперь и похожи на героев – страшных сходством обезьяны с человеком... Произносят необыкновенно благородные слова – по памяти, по долгой привычке, совершенно автоматически... Вы думаете, мне легко это говорить? Вы думаете, мне легко смотреть на то, что здесь происходит? Не с одной иллюзией я расстался в последние пять лет. Я сам разделял когда-то их надежды и настроения»²⁵.

Умеренный англичанин в своих репликах пытается сгладить острые оценки Брауна, замечая, что говоренное о социалистах может быть сказано о всех людях, а заодно упрекает эмигрантов в тенденции думать, что все ненавидят Россию и обижают ее по каким-то «маккиавелическим» соображениям. Браун же оправданно жестко в данном случае отвечает: «Никакой ненависти к России у вас нет. Правда, вам очень трудно поверить, что *на русском горизонте* (он подчеркнул эти слова) могут быть явления покрупнее и поважнее европейских, – все равно, положительные или отрицательные... Но это другой вопрос, я его не касаюсь... Скажу вам больше: если б, вместо России, была, например, Англия, то все социалисты, – тогда кроме англичан, – отнесли бы к этому делу

²⁴ Шереги 2016. С. 7 -20.

²⁵ Алданов 1991. Т. 4. С. 139.

точно так же. Нет, дело простое. Где-то далеко происходит “великий опыт”, которого они у себя устроить не хотят, да и не могут. Но расшаркаться перед опытом необходимо, и тут внутренняя борьба ведется на том, насколько грациозно и почтительно будет это расшаркивание. Правые социалисты готовы уделить великому опыту одну унцию сочувствия, – меньше не возьмем. А центральные примирительно предлагают: давайте, сойдемся на двух унциях, черт с ней, с Россией!...»²⁶. Если вспомнить еще один «опыт», внушенный не столь мощным революционаризмом – перестройку уже в конце XX века, то «лестные» оценки Алданова его суггестии (высказанные его протагонистом Брауном), окажутся не столь уж неуместными.

Еще одна аллюзия на пока не возникшую социобиологию, высказанная оппонентом Брауна: «...вы классифицируете людей, как энтомолог Фабр, писавший чудесные книги, классифицировал насекомых. Но он их, по крайней мере, любил... Сочувствую вам: должно быть, вам очень нелегко жить на свете. Что можно делать в жизни с взглядами, подобными вашим? ...Вижу в вас живое доказательство тщеты и сухости рационализма». И ответ Брауна – в чем-то и самохарактеристика Алданова: «...вы меня стилизуете под какого-то провинциального демона. Если хотите, я рационалист: слово не очень ясное. Но рационалист я без подобающего рационалисту энтузиазма и, главное, без малейшей веры в торжество разума. Как было бы хорошо, если б разум торжествовал везде и во всем! Но не торжествует он почти ни в чем и нигде»²⁷.

Нечто подобное отразилось в неоднократно повторяемых суждениях писателя, которые можно считать архетипическими для суггестии любого революционаризма: всё – торжество случая, даже торжество грабежа, вредного самому грабителю. Поистине, революция есть реакция, как утверждал, опираясь на глубокие исторические выкладки и обширную интерпретацию экономических показателей и социологических данных ее современник П. Струве. Он писал: «Социалистическая революция XX века есть грандиозная реакция почвенных сил принуждения против таких же почвенных сил свободы в экономическом и социальном развитии России и ее народов»²⁸.

Вернемся к суждению Брауна в еще одном ракурсе: отношений отцов и детей. Современные Брауну/Алданову «дети» составляют духовное добро из того, что считали отбросами их «отцы», в основном из агрессивного национализма; кризис в отношениях между ними – вечное состояние человечества; все умственные и моральные ценности распродают за гроши. «Недолгое царство свободы кончилось: люди не ува-

²⁶ Там же. С. 140.

²⁷ Там же. С. 141-142.

²⁸ Струве 1952. С. 7.

жают тех, кто обращается с ними не как с лакеями, – все народы сейчас находятся en état de liberté provisoire (в состоянии временной свободы). Народоправство стало именно “ненужностью” – и даже ненужностью не очень умной... Вожаки, работающие под *великанов революции*, в душе себе цену знают, но от своих балаганных слов пьянеют и они сами. Ничего “дьявольского”, ничего от “великого инквизитора”, от всей той бу-тафории, которую им подкидывают враги, у них нет. Мелкий жулик прикидывается фанатиком, так как репутация фанатика чрезвычайно нравится жулику, да еще и полезна ему, ибо эта проклятая “дымка таинственности” действует на воображение балаганной публики; недаром в каждом чемпионате цирковой борьбы есть обязательно “Черная Маска”...»²⁹. Горчайшие характеристики экс-социалиста Брауна (и в чем-то Алданова) – скорее, проекция лидеров социализма в его тоталитарных вариантах. В своих психопортретах вождей нового призыва, Алданов особо подчеркивал их склонность к провокациям – в памфлетах «Сталин» и «Гитлер», а до этого – в психопортрете суперпровокаатора Азефа. Но дело не в личностях самих по себе: именно таковые были востребованы толпой, которая предпочитала синие или коричневые рубашки.

В итоговом письме Брауна своему исконному оппоненту Федосьеву сначала дается взгляд на природу любой государственности, корреспондирующий с социобиологией. Глубину социального анализа Брауна (Алданова) можно считать беспрецедентной и в чем-то трансцендентной. «История государственной власти – смена одних видов саранчи другими. И мы с Вами не для того разошлись по пещерам, чтобы обсуждать, какая саранча лучше. Но уж если обсуждать, то, по-моему, гораздо лучше и безвреднее наша. В демократии мне нисколько не дорога сущность: чувствую себя в состоянии обойтись без народного голосования; но зато мне очень нужны и дороги ее “аксессуары”. Мне дорога свобода мысли (этого подарка я Вам, простите, не сделаю). Дал бы ее царь, принял бы его с благодарностью: так же, если б дал ее диктатор, – хоть мне диктаторы, в отличие от царей, в большинстве очень противны просто как люди. Что ж делать, у царей и диктаторов ее не получишь»³⁰.

Дальше идут мысли, по сути, того же самого Алданова, выраженные практически во всех его романах: в жизни нет ничего, кроме случая, чаще скверного, убеждение же в существовании направляющей силы в мире – разумной и даже доброй – ничем не обосновано. И – заключительные слова письма Брауна: «Все то, что привилегированные люди могли отдать без кровопролития, они уже отдали. В остальное они вцепятся зубами – и будут правы, ибо на смену им идут дикари под руководством прохвостов. Уголовный кодекс прав: грязь лучше крови, жу-

²⁹ Алданов 1991. Т. 4. С. 352.

³⁰ Там же. С. 400.

лики лучше бандитов, тем более, что жулик сидит и в бандитах. А выбирать из разных шаек надо все-таки наименее опасную. Внешнему хаосу соответствует хаос внутренний: распад душ, j'en sais quelque chose (об этом я кое-что знаю). Распалась и моя душа, – что ж мне жалеть о жизни! Большое, очень большое явление медленно выпадает из мира, заменить его нечем, и пустоту скорее всего заполнит дрянь, которую, после некоторой давности, назовут гораздо вежливее, – как вековую грязь называют патиной времени. Появятся, уже появились новые идеалисты. Идеализм их наглый и глупый, зато у них твердая вера в себя, у них душевная целостность, в своей мерзости еще невиданная в истории, – будущее принадлежит идеалистам хамства»³¹.

В данных пророчествах гораздо больше правды, чем кажется на первый взгляд, хотя высказывающий их признает себя большим физически и душевно, готовясь к самоубийству (казус подобного рода Алданов описал в отдельном романе под таким названием). А то, что указанное хамство обладает не только своим идеализмом, но и присущей только ему суггестией, доказать нетрудно: достаточно бросить взгляд на русофобскую суггестию сегодня. Алданов же это делал не только в художественных, но и в публицистических своих произведениях.

В заключение подчеркнем: к нему и к Толстому как ни к кому из всех других писателей можно отнести перефразированные знаменитые слова поэта-философа: Блажен, кто постигал сей мир/В его минуты роковые. В равной степени это касается и историка Б. Поршнева. Анализ других их работ под этим углом зрения – дело недалекого будущего.

БИБЛИОГРАФИЯ / REFERENCES

- Алданов М.А. Собрание сочинений в 6-ти томах. М.: Изд-во «Правда», 1991. Т. 3. 543 с. [Aldanov M.A. Sbranie sochinenij v 6-ti tomah. M.: Izd-vo «Pravda», 1991. T. 3. 543 s.]
- Алданов М.А. Собрание сочинений в 6-ти томах. М.: Изд-во «Правда», 1991. Т. 4. 576 с. [Aldanov M.A. Sbranie sochinenij v 6-ti tomah. M.: Izd-vo «Pravda», 1991. T. 4. 576 s.]
- Белый Андрей. Петербург, М.: Наука. 1981. 696 с. [Belyj Andrej. Peterburg, M.: Nauka. 1981. 696 s.]
- Задорожнюк И.Е. Постоянство постепенности или пароксизмы революционаризма // Вопросы философии. 2010. № 6. С. 89-102. [Zadorozhnyuk I.E. Postoyanstvo postepenovstva ili paroksizmy revolyucionarizma // Voprosy filosofii. 2010. № 6. S. 89-102]
- Задорожнюк И.Е., Задорожнюк Э.Г. Неусвоенные уроки преддверия Первой мировой войны // Свободная мысль. 2017. № 5. С. 67-84 [Zadorozhnyuk I.E., Zadorozhnyuk E.G. Neusvoennye uruki preddveriya Pervoj mirovoj vojny // Svobodnaya mysl'. 2017. № 5].
- Поршнев Б.Ф. Контрсуггестия и история (Элементарное социально-психологическое явление и его трансформации в истории человечества) // История и психология. Сб. статей. М.: Мысль. 1972. С. 7-35 [Porshnev B.F. Kontrsggestiya i istoriya (Elementarnoe social'no-psixologicheskoe yavlenie i ego transformacii v istorii chelovechestva) // Istoriya i psixologiya. Sbornik statej. M.: Mysl'. 1972. S. 7-35].
- Степин В.С. Саморазвивающиеся системы и постнеклассическая рациональность // Вопросы философии. М., 2003. № 8. С. 5-18 [Stepin V.S. Samorazvivayushhiesya sistemy i postneklassicheskaya racional'nost' // Voprosy filosofii. M., 2003. № 8. S. 5-18].

³¹ Там же. С. 402.

- Струве П.Б. Социальная и экономическая истории России с древнейших времен до нашего, в связи с развитием русской культуры и ростом российской государственности. Париж: YMCA-Пресс, 1952. 386 с. [Struve P.B. Social'naya i ekonomicheskaya istorii Rossii s drevnejshix vremen do nashego, v svyazi s razvitiem russkoj kul'tury i rostom rossijskoj gosudarstvennosti. Parizh: YMCA-Press, 1952. 386 s.]
- Толстой Л.Н. Собрание сочинений в 20 томах. М.: ГИХЛ, 1962. Т. 6. 448 с. [Tolstoj L.N. Sbranie sochinenij v 20 tomah. M.: GИHL, 1962. T. 6. 448 s.]
- Толстой Л.Н. Собрание сочинений в 20 томах. М.: ГИХЛ, 1963. Т. 7. 494 с. [Tolstoj L.N. Sbranie sochinenij v 20 tomah. M.: GИHL, 1963. T. 7. 494 s.]
- Шереги Ф.Э. Политика как социальный институт // СОТИС. 2016. №5. С. 7-20 [Sheregi F.E. Politika kak social'nyj institut // SOTIS. 2016. № 5. S. 7-20].
- Wilson Edward O. Sociobiology: The New Synthesis. Harvard University Press, 1975. 697 p.

Задорожнюк Элла Григорьевна, доктор исторических наук, заведующая Отделом современной истории стран Центральной и Юго-Восточной Европы, Институт славяноведения РАН, elzador46@mail.ru

Задорожнюк Иван Евдокимович, доктор философских наук, зам. заведующего Отделом социально-гуманитарных журналов, Национальный исследовательский ядерный университет «МИФИ», zador46@yandex.ru

Phenomenon of a suggestion and countersuggestion of wars and revolutions in the eyes of writers

The article explores the urgency of new moments in evaluating the events of the Patriotic War of 1812 and the October Revolution with the use of the potential of the concepts of “suggestion” and “counter-aggression” that has not been used to the full. With this in mind, the interpretation of the novel “War and Peace” by L. Tolstoy and M. Aldanov’s trilogy “The Key”, “Flight”, and “The Cave” are given as full-fledged historical sources from the perspective of the dialectic of suggestion and counter-suggestion. In particular, this interpretation is based on the concept of a post-non-classical type of scientific rationality (V. Stepin), which implies the involvement of all types of knowledge to explain the nature and essence of historical phenomena that are not grasped by established cognitive procedures, including such a source as works of fiction. The demand for the concepts of “suggestion” and “countersuggestion”, which the historian B. Porshnev brought into the discourse of social sciences, is demonstrated; given their extended definition in line with the interdisciplinary approach.

Keywords: historical phenomenon, social processes, suggestion, countersuggestion, revolutionism, provocation, wars, revolutions

Ella Zadorozhnyuk, Dr.Sc. (History), Head of the Department of Contemporary History of Central and South-Eastern Europe, Institute of Slavic Studies RAS, elzador46@mail.ru

Ivan Zadorozhnyuk, Dr.Sc. (Philosophy), Deputy Head of the Department of Social and Humanitarian Magazines, National Research Nuclear University, zador46@yandex.ru